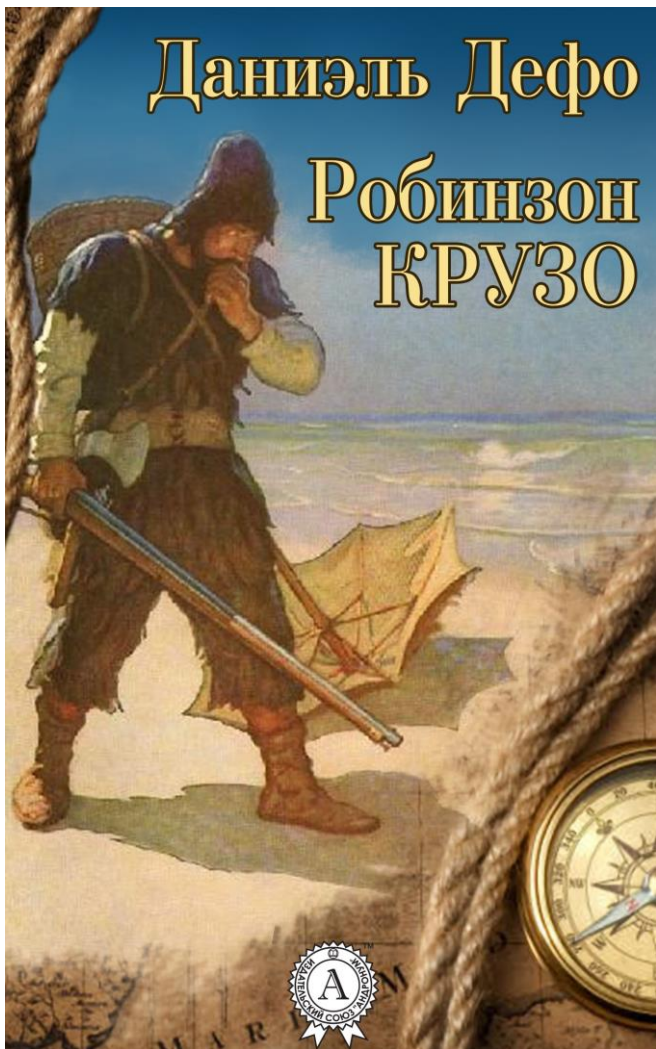


Даниэль Дефо

РОБИНЗОН
КРУЗО



«Робинзон Крузо» - всемирно известное произведение и один из лучших романов английского писателя и публициста Даниэля Дефо (англ. Daniel Defoe, 1660–1731).

В книге рассказывается о невероятных приключениях моряка Робинзона Круза, который, оказавшись вдали от цивилизации и в полном одиночестве, осваивает безлюдный остров. История жизни Робинзона Крузо пленяет своей необычной атмосферой и детальным описанием достижений и находок главного героя.

Даниэль Дефо

Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим

Я родился в 1632 году в городе Йорке в зажиточной семье иностранного происхождения. Мой отец был родом из Бремена и основался сначала в Гулле. Нажив торговлей хорошее состояние, он оставил дела и переселился в Йорк. Здесь он женился на моей матери, родные которой назывались Робинзонами — старинная фамилия в тех местах. По ним и меня называли Робинзоном. Фамилия отца была Крейцнер, но, по обычаю англичан коверкать иностранные слова, нас стали называть Крузо. Теперь мы и сами так произносим и пишем нашу фамилию; так же всегда звали меня и мои знакомые.

У меня было два старших брата. Один служил во Фландрии, в английском пехотном полку, — том самом, которым когда-то командовал знаменитый полковник Локгарт; он дослужился до чина подполковника и был убит в сражении с испанцами под Дюнкирхеном. Что случилось со вторым моим братом — не знаю, как не знали мои отец и мать, что случилось со мной.

Так как в семье я был третьим, то меня не готовили ни к какому ремеслу, и голова моя с юных лет была набита всякими бреднями. Отец мой, который был уж очень стар, дал мне довольно сносное образование в том объеме, в каком можно его получить, воспитываясь дома и посещая городскую школу. Он прочил меня в юристы, но я мечтал о морских путешествиях и не хотел слушать ни о чем другом. Эта страсть моя к морю так далеко меня завела, что я пошел против воли — более того: против прямого запрещения отца и пренебрег мольбами матери и советами друзей; казалось, было что-то роковое в этом природном влечении, толкавшем меня к горестной жизни, которая досталась мне в удел.

Отец мой, человек степенный и умный, догадывался о моей затее и предостерегал меня серьезно и основательно. Однажды утром он позвал меня в свою комнату, к которой был прикован подагрой, и стал горячо меня укорять. Он спросил,

какие другие причины, кроме бродяжнических наклонностей, могут быть у меня для того, чтобы покинуть отчий дом и родную страну, где мне легко выйти в люди, где я могу прилежанием и трудом увеличить свое состояние и жить в довольстве и с приятностью. Покидают отчизну в погоне за приключениями, сказал он, или те, кому нечего терять, или честолюбцы, жаждущие создать себе высшее положение; пускаясь в предприятия, выходящие из рамок обыденной жизни, они стремятся поправить дела и покрыть славой свое имя; но подобные вещи или мне не по силам или унижительны для меня; мое место — середина, то есть то, что можно назвать высшею ступенью скромного существования, которое, как он убедился на многолетнем опыте, является для нас лучшим в мире, наиболее подходящим для человеческого счастья, избавленным как от нужды и лишений, физического труда и страданий, выпадающих на долю низших классов, так и от роскоши, честолюбия, чванства и зависти высших классов. Насколько приятна такая жизнь, сказал он, я могу судить уже по тому, что все, поставленные в иные условия, завидуют ему: даже короли нередко жалуются на горькую участь людей, рожденных для великих дел, и жалеют, что судьба не поставила их между двумя крайностями — ничтожеством и величием, да и мудрец высказывается в пользу

середины, как меры истинного счастья, когда молит небо не посылать ему ни бедности, ни богатства.

Стоит мне только понаблюдать, сказал отец, и я увижу, что все жизненные невзгоды распределены между высшими и низшими классами и что меньше всего их выпадает на долю людей среднего состояния, не подверженных стольким превратностям судьбы, как знать и простонародье; даже от недугов, телесных и душевных, они застрахованы больше, чем те, у кого болезни вызываются пороками, роскошью и всякого рода излишествами, с одной стороны, тяжелым трудом, нуждой, плохим и недостаточным питанием — с другой, являясь, таким образом, естественным последствием образа жизни. Среднее состояние — наиболее благоприятное для расцвета всех добродетелей, для всех радостей бытия; изобилие и мир — слуги его; ему сопутствуют и благословляют его умеренность, воздержанность, здоровье, спокойствие духа, общительность, всевозможные приятные развлечения, всевозможные удовольствия. Человек среднего состояния проходит свой жизненный путь тихо и гладко, не обременяя себя ни физическим, ни умственным непосильным трудом, не продаваясь в рабство из-за куска хлеба, не мучаясь поисками выхода из запутанных положений, лишаящих тело сна, а душу покоя, не снедаемый завистью, не стора

втайне огнем честолюбия. Окруженный довольством, легко и незаметно скользит он к могиле, рассудительно вкушая сладости жизни без примеси горечи, чувствуя себя счастливым и научаясь каждодневным опытом понимать это все яснее и глубже.

Затем отец настойчиво и очень благожелательно стал упрашивать меня не ребячиться, не бросаться, очертя голову, в омут нужды и страданий, от которых занимаемое мною по моему рождению положение в свете, казалось, должно бы оградить меня. Он говорил, что я не поставлен в необходимость работать из-за куса хлеба, что он позаботится обо мне, постарается вывести меня на ту дорогу, которую только что советовал мне избрать, и что если я окажусь неудачником или несчастным, то должен буду пенять лишь на злой рок или на собственную оплошность. Предостерегая меня от шага, который не принесет мне ничего, кроме вреда, он исполняет таким образом свой долг и слагает с себя всякую ответственность; словом, если я останусь дома и устрою свою жизнь согласно его указаниям, он будет мне добрым отцом, но он не приложит руку к моей гибели, поощряя меня к отъезду. В заключение он привел мне в пример моего старшего брата, которого он также настойчиво убеждал не принимать участия в нидерландской

войне, но все его уговоры оказались напрасными: увлеченный мечтами, юноша бежал в армию и был убит. И хотя (так закончил отец свою речь) он никогда не перестанет молиться обо мне, но объявляет мне прямо, что, если я не откажусь от своей безумной затеи, на мне не будет благословения Божия. Придет время, когда я пожалею, что пренебрег его советом, но тогда, может статься, некому будет помочь мне исправить сделанное зло.

Я видел, как во время последней части этой речи (которая была поистине пророческой, хотя, я думаю, отец мой и сам этого не подозревал) обильные слезы заструились по лицу старика, особенно, когда он заговорил о моем убитом брате; а когда батюшка сказал, что для меня придет время раскаяния, но уже некому будет помочь мне, то от волнения он оборвал свою речь, заявив, что сердце его переполнено и он не может больше вымолвить ни слова.

Я был искренно растроган этой речью (да и кого бы она не тронула?) и твердо решил не думать более об отъезде в чужие края, а основаться на родине, как того желал мой отец. Но увы! — прошло несколько дней, и от моего решения не осталось ничего: словом, через несколько недель после моего разговора с отцом я, во избежание новых отцовских увещаний, порешил бежать из

дому тайно. Но я сдержал первый пыл своего нетерпения и действовал не спеша: выбрав время, когда моя мать, как мне показалось, была более обыкновенного в духе, я отвел ее в уголок и сказал ей, что все мои помыслы до такой степени поглощены желанием видеть чужие края, что, если даже я и пристроюсь к какомунибудь делу, у меня все равно не хватит терпения довести его до конца и что пусть лучше отец отпустит меня добровольно, так как иначе я буду вынужден обойтись без его разрешения. Я сказал, что мне восемнадцать лет, а в эти годы поздно учиться ремеслу, поздно готовиться в юристы. И если бы даже, допустим, я поступил писцом к стряпчему, я знаю наперед, что убегу от своего патрона, не дотянув срока искуса, и уйду в море. Я просил мать уговорить батюшку отпустить меня путешествовать в виде опыта; тогда, если такая жизнь мне не понравится, я ворочусь домой и больше уже не уеду; и давал слово наверстать удвоенным прилежанием потерянное время.

Мои слова сильно разгневали мою матушку. Она сказала, что бесполезно и заговаривать с отцом на эту тему, так как он слишком хорошо понимает, в чем моя польза, и не согласится на мою просьбу. Она удивлялась, как я еще могу думать о подобных вещах после моего разговора с отцом, который убеждал меня так мягко и с такой добротой.

Конечно, если я хочу себя погубить, этой беде не пособить, но я могу быть уверен, что ни она, ни отец никогда не дадут своего согласия на мою затею; сама же она нисколько не желает содействовать моей гибели, и я никогда не вправе буду сказать, что моя мать потакала мне, когда отец был против.

Впоследствии я узнал, что хотя матушка и отказалась ходатайствовать за меня перед отцом, однако передала ему наш разговор от слова до слова. Очень озабоченный таким оборотом дела, отец сказал ей со вздохом: «Мальчик мог бы быть счастлив, оставшись на родине, но, если он пустится в чужие края, он будет самым жалким, самым несчастным существом, какое когда либо рождалось на земле. Нет, я не могу на это согласиться».

Только без малого через год после описанного я вырвался на волю. В течение всего этого времени я упорно оставался глух ко всем предложениям пристроиться к какомунибудь делу и часто укорял отца и мать за их решительное предубеждение против того рода жизни, к которому меня влекли мои природные наклонности. Но как то раз, во время пребывания моего в Гулле, куда я заехал случайно, на этот раз без всякой мысли о побеге, один мой приятель, отправлявшийся в Лондон на корабле своего отца, стал уговаривать меня уехать с

ним, пуская в ход обычную у моряков приманку, а именно, что мне ничего не будет стоить проезд. И вот, не спросившись ни у отца, ни у матери, даже не уведомив их ни одним словом, а предоставив им узнать об этом как придется, — не испросив ни родительского, ни Божьего благословения, не приняв в расчет ни обстоятельств данной минуты, ни последствий, в недобрый — видит Бог! — час, 1-го сентября 1651 года, я сел на корабль моего приятеля, отправлявшийся в Лондон. Никогда, я думаю, злоключения молодых искателей приключений не начинались так рано и не продолжались так долго, как мои. Не успел наш корабль выйти из устья Гумбера, как подул ветер, и началось страшное волнение. До тех пор я никогда не бывал в море и не могу выразить, до чего мне стало плохо и как была потрясена моя душа. Только теперь я серьезно задумался над тем, что я натворил и как справедливо постигла меня небесная кара за то, что я так бессовестно покинул отчий дом и нарушил сыновний долг. Все добрые советы моих родителей, слезы отца, мольбы матери воскресли в моей памяти, и совесть, которая в то время еще не успела у меня окончательно очерстветь, сурово упрекала меня за пренебрежение к родительским увещаниям и за нарушение моих обязанностей к Богу и отцу.

Между тем ветер крепчал, и по морю ходили

высокие волны, хотя эта буря не имела и подобия того, что я много раз видел потом, ни даже того, что мне пришлось увидеть спустя несколько дней. Но и этого было довольно, чтобы ошеломить такого новичка в морском деле, ничего в нем не смыслившего, каким я был тогда. С каждой новой накатывавшейся на нас волной я ожидал, что она нас поглотит, и всякий раз, когда корабль падал вниз, как мне казалось, в пучину или хлябь морскую, я был уверен, что он уже не поднимется кверху. И в этой муке душевной я твердо решался и неоднократно клялся, что, если Господу будет угодно пощадить на этот раз мою жизнь, если нога моя снова ступит на твердую землю, я сейчас же ворочусь домой к отцу и никогда, покуда жив, не сяду больше на корабль; я клялся послушаться отцовского совета и никогда более не подвергать себя таким невзгодам, какие тогда переживал. Теперь только я понял всю верность рассуждений отца насчет золотой середины; для меня ясно стало, как мирно и приятно прожил он свою жизнь, никогда не подвергаясь бурям на море и не страдая от передряг на берегу, и я решил вернуться в родительский дом с покаянием, как истинный блудный сын.

Этих трезвых и благоразумных мыслей хватило у меня на все время, покуда продолжалась буря, и даже еще на некоторое время; но на другое

утро ветер стал стихать, волнение поулеглось, и я начал понемногу осваиваться с морем. Как бы то ни было, весь этот день я был настроен очень серьезно (впрочем, я еще не совсем оправился от морской болезни); но к концу дня погода прояснилась, ветер прекратился, и наступил тихий, очаровательный вечер; солнце зашло без туч и такое же ясное встало на другой день, и гладь морская при полном или почти полном безветрии, вся облитая сиянием солнца, представляла восхитительную картину, какой я никогда еще не видывал.

Ночью я отлично выспался, и от моей морской болезни не осталось и следа. Я был очень весел и с удивлением смотрел на море, которое еще вчера бушевало и грохотало и могло в такое короткое время затихнуть и принять столь привлекательный вид. И тут то, словно для того, чтобы разрушить мои благие намерения, ко мне подошел мой приятель, сманивший меня ехать с ним, и, хлопнув меня по плечу, сказал: «Ну что, Боб, как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Пари держу, что ты испугался, — признайся: ведь испугался вчера, когда задул ветерок?» — «Ветерок? Хорош ветерок! Я и представить себе не мог такой ужасной бури!» — «Бури! Ах ты чудак! Так, по твоему, это буря? Что ты! Пустяки! Дай нам хорошее судно да побольше простору, так мы такого шквалика и не заметим. Ну, да ты еще

неопытный моряк, Боб. Пойдем ка лучше сварим себе пуншу и забудем обо всем. Взгляни, какой чудесный нынче день!» Чтоб сократить эту грустную часть моей повести, скажу прямо, что дальше пошло как обыкновенно у моряков: сварили пунш, я напился пьян и потопил в грязи этой ночи все мое раскаяние, все похвальные размышления о прошлом моем поведении и все мои благие решения относительно будущего. Словом, как только поверхность моря разгладилась, как только после бури восстановилась тишина, а вместе с бурей улеглись мои взбудораженные чувства, и страх быть поглощенным волнами прошел, так мысли мои потекли по старому руслу, и все мои клятвы, все обещания, которые я давал себе в минуты бедствия, были позабыты. Правда, на меня находило порой просветление, серьезные мысли еще пытались, так сказать, воротиться, но я гнал их прочь, боролся с ними, словно с приступами болезни, и при помощи пьянства и веселой компании скоро восторжествовал над этими припадками, как я их называл; в какие нибудь пять-шесть дней я одержал такую полную победу над своей совестью, какой только может пожелать себе юнец, решившийся не обращать на нее внимания. Но мне предстояло еще одно испытание: Провидение, как всегда в таких случаях, хотело отнять у меня последнее оправдание; в самом деле,

если на этот раз я не понял, что был спасен им, то следующее испытание было такого рода, что тут уж и самый последний, самый отпетый негодяй из нашего экипажа не мог бы не признать как опасности, так и чудесного избавления от нее.

На шестой день по выходе в море мы пришли на ярмутский рейд. Ветер после шторма был все время противный и слабый, так что мы подвигались тихо. В Ярмуте мы были вынуждены бросить якорь и простояли при противном, а именно юго-западном, ветре семь или восемь дней. В течение этого времени на рейд пришло из Ньюкасла очень много судов. Ярмутский рейд служит обычным местом стоянки для судов, которые ожидают здесь попутного ветра, чтобы войти в Темзу.

Мы, впрочем, не простояли бы так долго и вошли бы в реку с приливом, если бы ветер не был так свеж, а дней через пять не задул еще сильнее. Однако, ярмутский рейд считается такой же хорошей стоянкой, как и гавань, а якоря и якорные канаты были у нас крепкие; поэтому наши люди нисколько не тревожились, не ожидая опасности, и делили свой досуг между отдыхом и развлечениями, по обычаю моряков. Но на восьмой день утром ветер еще посвежел, и понадобились все рабочие руки, чтоб убрать стеньги и плотно закрепить все, что нужно, чтобы судно могло

безопасно держаться на рейде. К полудню развело большое волнение; корабль стало сильно раскачивать; он несколько раз черпнул бортом, и раза два нам показалось, что нас сорвало с якоря. Тогда капитан скомандовал отдать шварт. Таким образом мы держались на двух якорях против ветра, вытравив канаты до конца.

Тем временем разыгрался жесточайший шторм. Растерянность и ужас читались теперь даже на лицах матросов. Я несколько раз слышал, как сам капитан, проходя мимо меня из своей каюты, бормотал вполголоса: «Господи, смилуйся над нами, иначе все мы погибли, всем нам пришел конец», что не мешало ему, однако, зорко наблюдать за работами по спасению корабля. Первые минуты переполоха оглушили меня: я неподвижно лежал в своей каюте под лестницей, и даже не знаю хорошенько, что я чувствовал. Мне было трудно вернуться к прежнему покаянному настроению после того, как я так явно пренебрег им и так решительно разделался с ним: мне казалось, что ужасы смерти раз навсегда миновали и что эта буря окончится ничем, как и первая. Но когда сам капитан, проходя мимо, как я только что сказал, заявил, что мы все погибнем, я страшно испугался. Я вышел из каюты на палубу: никогда в жизни не приходилось мне видеть такой зловещей картины: по морю ходили валы вышиной с гору, и каждые

три, четыре минуты на нас опрокидывалась такая гора. Когда, собравшись с духом, я оглянулся, кругом царил ужас и бедствие. Два тяжело нагруженные судна, стоявшие на якоре неподалеку от нас, чтоб облегчить себя, обрубили все мачты. Кто то из наших матросов крикнул, что корабль, стоявший в полумиле от нас впереди, пошел ко дну. Еще два судна сорвало с якорей и унесло в открытое море на произвол судьбы, ибо ни на том, ни на другом не оставалось ни одной мачты. Мелкие суда держались лучшие других и не так страдали на море; но два-три из них тоже унесло в море, и они промчались борт-о-борт мимо нас, убрав все паруса, кроме одного кормового кливера.

Вечером штурман и боцман приступили к капитану с просьбой позволить им срубить фок-мачту. Капитану очень этого не хотелось, но боцман стал доказывать ему, что, если фок-мачту оставить, судно затонет, и он согласился, а когда снесли фок-мачту, грот-мачта начала так качаться и так сильно раскачивать судно, что пришлось снести и ее и таким образом очистить палубу.

Можете судить, что должен был испытывать все это время я — совсем новичок в морском деле, незадолго перед тем так испугавшийся небольшого волнения. Но если после стольких лет память меня не обманывает, не смерть была мне страшна тогда: во сто крат сильнее ужасала меня мысль о том, что

я изменил своему решению принести повинную отцу и вернулся к своим первоначальным проклятым химерам, и мысли эти в соединении с боязнью бури приводили меня в состояние, которого не передать никакими словами. Но самое худшее было еще впереди. Буря продолжала свирепствовать с такой силой, что, по признанию самих моряков, им никогда не случалось видеть подобной. Судно у нас было крепкое, но от большого количества груза глубоко сидело в воде, и его так качало, что на палубе поминутно слышалось: «Захлестнет, кренит». В некотором отношении для меня было большим преимуществом, что я не вполне понимал значение этих слов, пока не спросил об этом. Однако, буря бушевала все с большей яростью, и я увидел — а это не часто увидишь — как капитан, боцман и еще несколько человек, у которых чувства, вероятно, не так притупились, как у остальных, молились, ежеминутно ожидая, что корабль пойдет ко дну. В довершение ужаса вдруг среди ночи один из людей, спустившись в трюм поглядеть, все ли там в порядке, закричал, что судно дало течь, другой посланный донес, что вода поднялась уже на четыре фута. Тогда раздалась команда: «Всем к помпе!» Когда я услышал эти слова, у меня замерло сердце, и я упал навзничь на койку, где я сидел. Но матросы растолкали меня, говоря, что если до сих

пор я был бесполезен, то теперь могу работать, как и всякий другой. Тогда я встал, подошел к помпе и усердно принялся качать. В это время несколько мелких грузовых судов, будучи не в состоянии выстоять против ветра, снялись с якоря и вышли в море. Заметив их, когда они проходили мимо, капитан приказал выпалить из пушки, чтобы дать знать о нашем бедственном положении. Не понимая значения этого выстрела, я вообразил, что судно наше разбилось или вообще случилось что нибудь ужасное, словом, я так испугался, что упал в обморок. Но так как каждому было в пору заботиться лишь о спасении собственной жизни, то на меня не обратили внимания и не поинтересовались узнать, что приключилось со мной. Другой матрос стал к помпе на мое место, оттолкнув меня ногой и оставив лежать, в полной уверенности, что я упал замертво; прошло немало времени, пока я очнулся.

Мы продолжали работать, но вода поднималась в трюме все выше. Было очевидно, что корабль затонет, и хотя буря начинала понемногу стихать, однако не было надежды, что он сможет продержаться на воде, покуда мы войдем в гавань, и капитан продолжал палить из пушек, взывая о помощи. Наконец, одно мелкое судно, стоявшее впереди нас, рискнуло спустить шлюпку, чтобы подать нам помощь. С большой опасностью

шлюпка приблизилась к нам, но ни мы не могли подойти к ней, ни шлюпка не могла причалить к нашему кораблю, хотя люди гребли изо всех сил, рискуя своей жизнью ради спасения нашей. Наши матросы бросили им канат с буйком, вытравив его на большую длину. После долгих напрасных усилий тем удалось поймать конец каната; мы притянули их под корму и все до одного спустились к ним в шлюпку. Нечего было и думать добраться в ней до их судна; поэтому с общего согласия было решено грести по ветру, стараясь только держать по возможности к берегу. Наш капитан пообещал чужим матросам, что, если лодка их разобьется о берег, он заплатит за нее их хозяину. Таким образом, частью на веслах, частью подгоняемые ветром, мы направились к северу в сторону Винтертон-Несса, постепенно заворачивая к земле.

Не прошло и четверти часа с той минуты, когда мы отчалили от корабля, как он стал погружаться на наших глазах. И тут то впервые я понял, что значит «захлестнет». Должен однако, сознаться, что я почти не имел силы взглянуть на корабль, услышав крики матросов, что он тонет, ибо с момента, когда я сошел или, лучше оказать, когда меня сняли в лодку, во мне словно все умерло частью от страха, частью от мыслей о еще предстоящих мне злоключениях.

Покуда люди усиленно работали веслами,

чтобы направить лодку к берегу, мы могли видеть (ибо всякий раз, как лодку подбрасывало волной, нам виден был берег) — мы могли видеть, что там собралась большая толпа: все суетились и бегали, готовясь подать нам помощь, когда мы подойдем ближе. Но мы подвигались очень медленно и добрались до земли, только пройдя Винтертонский маяк, где между Винтертоном и Кромером береговая линия загибается к западу и где поэтому ее выступы немного умеряли силу ветра. Здесь мы пристали и, с великим трудом, но все таки благополучно выбравшись на сушу, пошли пешком в Ярмут. В Ярмуте, благодаря постигшему нас бедствию, к нам отнеслись весьма участливо: город отвел нам хорошие помещения, а частные лица — купцы и судохозяева — снабдили нас деньгами в достаточном количестве, чтобы доехать до Лондона или до Гулля, как мы захотим.

О, почему мне не пришло тогда в голову вернуться в Гуль в родительский дом! Как бы я был счастлив! Наверно, отец мой, как в Евангельской притче, заколот бы для меня откормленного телянка, ибо он узнал о моем спасении лишь через много времени после того, как до него дошла весть, что судно, на котором я вышел из Гулля, погибло на ярмутском рейде.

Но моя злая судьба толкала меня все на тот же гибельный путь с упорством, которому невозможно

было противиться; и хотя в моей душе, неоднократно раздавался трезвый голос рассудка, звавший меня вернуться домой, но у меня не хватило для этого сил. Не знаю, как это назвать, и потому не буду настаивать, что нас побуждает быть орудиями собственной своей гибели, даже когда мы видим ее перед собой и идем к ней с открытыми глазами, тайное веление всемогущего рока; но несомненно, что только моя злосчастная судьба, которой я был не в силах избежать, заставила меня пойти наперекор трезвым доводам и внушениям лучшей части моего существа и пренебречь двумя столь наглядными уроками, которые я получил при первой же попытке вступить на новый путь.

Сын нашего судохозяина, мой приятель, помогший мне укрепиться в моем пагубном решении, присмирел теперь больше меня: в первый раз как он заговорил со мной в Ярмуте (что случилось только через два или три дня, так как нам отвели разные помещения), я заметил, что тон его изменился. Весьма сумрачно настроенный) он спросил меня, покачивая головой, как я себя чувствую. Объяснив своему отцу, кто я такой, он рассказал, что я предпринял эту поездку в виде опыта, в будущем же намереваюсь объездить весь свет. Тогда его отец, обратившись ко мне, сказал серьезным и озабоченным тоном: «Молодой человек! Вам больше никогда не следует пускаться

в море; случившееся с нами вы должны принять за явное и несомненное знамение, что вам не суждено быть мореплавателем». — «Почему же сэр? — возразил я. — Разве вы тоже не будете больше плавать?» — «Это другое дело, — отвечал он: — плавать — моя профессия и, следовательно, моя обязанность. Но вы то ведь пустились в море в виде опыта. Так вот небеса и дали вам отведать то, чего вы должны ожидать, если будете упорствовать в своем решении. Быть может, все то, что с нами случилось, случилось из-за вас: быть может, вы были Ионой на нашем корабле... Пожалуйста, — прибавил он, — объясните мне толком, кто вы такой и что побудило вас предпринять это плавание?» Тогда я рассказал ему кое что о себе. Как только я кончил, он разразился страшным гневом. «Что я такое сделал, — говорил он, — чем провинился, что этот жалкий отверженец ступил на палубу моего корабля! Никогда больше, ни за тысячу фунтов не соглашусь я плыть на одном судне с тобой!» Конечно, все это было сказано в сердцах, человеком и без того уже взволнованным мыслью о своей потере, и в своем гневе он зашел дальше, чем следовало. Но у меня был с ним потом спокойный разговор, в котором он серьезно убеждал меня не искушать на свою гибель Провидение и воротиться к отцу, говоря, что во всем случившемся я должен видеть перст Божий.

«Ах, молодой человек! — сказал он в заключение, — если вы не вернетесь домой, то — верьте мне — повсюду, куда бы вы ни поехали, вас будут преследовать несчастья и неудачи, пока над вами не сбудутся слова вашего отца».

Вскоре после того мы расстались, я не нашелся возразить ему и больше его не видел. Куда он уехал из Ярмута — не знаю; у меня же было немного денег, и я отправился в Лондон сухим путем. И в Лондоне и по дороге туда на меня часто находили минуты сомнения и раздумья насчет того, какой род жизни мне избрать и воротиться ли домой, или пуститься в новое плавание.

Что касается возвращения в родительский дом, то стыд заглушал самые веские доводы моего разума: мне представлялось, как надо мной будут смеяться все наши соседи и как мне будет стыдно взглянуть не только на отца и на мать, но и на всех наших знакомых. С тех пор я часто замечал, до чего нелогична и непоследовательна человеческая природа, особенно в молодости; отвергая соображения, которыми следовало бы руководствоваться в подобных случаях, люди стыдятся не греха, а раскаяния, стыдятся не поступков, за которые их можно по справедливости назвать безумцами, а исправления, за которое только и можно почитать их разумными.

В таком состоянии я пребывал довольно

долго, не зная, что предпринять и какое избрать поприще жизни. Я не мог побороть нежелания вернуться домой, а пока я откладывал, воспоминание о перенесенных бедствиях мало помалу изглаживалось, вместе с ним ослабевал и без того слабый голос рассудка, побуждавший меня вернуться к отцу, и кончилось тем, что я отложил всякую мысль о возвращении и стал мечтать о новом путешествии.

Та самая злая сила, которая побудила меня бежать из родительского дома, которая вовлекла меня в нелепую и необдуманную затею составить себе состояние, рыская по свету, и так крепко забила мне в голову эти бредни, что я остался глух ко всем добрым советам, к увещаниям и даже к запрету отца, — эта самая сила, говорю я, какого бы ни была она рода, толкнула меня на самое несчастное предприятие, какое только можно вообразить: я сел на корабль, отправлявшийся к берегам Африки или, как выражаются наши моряки на своем языке, — в Гвинею, и вновь пустился странствовать.

Большим моим несчастьем было то, что во всех этих приключениях я не нанялся простым матросом; хотя мне пришлось бы работать немного больше, чем я привык, но зато я научился бы обязанностям и работе моряка и мог бы со временем сделаться штурманом или помощником

капитана, если не самим капитаном. Но уж такая была моя судьба — из всех путей выбрал самый худший. Так поступил я и в этом случае: в кошельке у меня водились деньги, на плечах было приличное платье, и я всегда являлся на судно заправским барином, поэтому я ничего там не делал и ничему не научился.

В Лондоне мне посчастливилось попасть с первых же шагов в хорошую компанию, что не часто случается с такими распущенными, сбившимися с пути юнцами, каким я был тогда, ибо дьявол не зевает и немедленно расставляет им какуюнибудь ловушку. Но не так было со мной. Я познакомился с одним капитаном, который незадолго перед тем ходил к берегам Гвинеи, и так как этот рейс был для него очень удачен, то он решил еще раз отправиться туда. Он полюбил мое общество — я мог быть в то время приятным собеседником — и, узнав от меня, что я мечтаю повидать свет, предложил мне ехать с ним, говоря, что мне это ничего не будет стоить, что я буду его сотрапезником и другом. Если же у меня есть возможность набрать с собой товаров, то мне, может быть, повезет, и я получу целиком всю вырученную от торговля прибыль.

Я принял предложение; завязав самые дружеские отношения с этим капитаном, человеком честным и прямодушным, я отправился с ним в

путь, захватив с собой небольшой груз, на котором, благодаря полной бескорыстности моего друга капитана, сделал весьма выгодный оборот: по его указаниям я закупил на сорок фунтов стерлингов различных побрякушек и безделушек. Эти сорок фунтов я насобирал с помощью моих родственников, с которыми был в переписке и которые, как я предполагаю, убедили моего отца или, вернее, мать помочь мне хоть небольшой суммой в этом первом моем предприятии.

Это путешествие было, можно сказать, единственным удачным из всех моих походов, чем я обязан бескорыстию и честности моего друга капитана, под руководством которого я, кроме того, приобрел изрядные сведения в математике и навигации, научился вести корабельный журнал, делать наблюдения и вообще узнал много такого, что необходимо знать моряку. Ему доставляло удовольствие заниматься со мной, а мне — учиться. Одним словом, в это путешествие я сделался моряком и купцом: я выручил за свой товар пять фунтов девять унций золотого песку, за который, по возвращении в Лондон, получил без малого триста фунтов стерлингов. Эта удача преисполнила меня честолюбивыми мечтами, которые впоследствии довершили мою гибель.

Но даже и в это путешествие на мою долю выпало немало невзгод, и главное я все время

прохворал, схватив сильнейшую тропическую лихорадку¹ вследствие чересчур жаркого климата, ибо побережье, где мы больше всего торговали, лежит между пятнадцатым градусом северной широты и экватором.

Итак, я сделался купцом, ведущим торговлю с Гвинеей. Так как, на мое несчастье, мой друг капитан вскоре по прибытии своем на родину умер, то я решил снова съездить, в Гвинею самостоятельно. Я отплыл из Англии на том же самом корабле, командование которым перешло теперь к помощнику умершего капитана. Это было самое злополучное путешествие, какое когда либо предпринимал человек. Правда, я не взял с собой и ста фунтов из нажитого капитала, а остальные двести фунтов отдал на хранение вдове моего покойного друга, которая распорядилась ими весьма добросовестно; но зато меня постигли во время пути страшные беды. Началось с того, что однажды на рассвете наше судно, державшее курс на Канарские острова или, вернее, между

¹ Болезнь жаркого климата, которой подвержены преимущественно уроженцы более холодных стран и, следовательно, европейцы. Замечательно одно из проявлений этой болезни: больному море представляется зеленеющим полем, и иногда случается, что, желая пройти по этому полю, человек прыгает и воду и погибает.

Канарскими островами и Африканским материком, было застигнуто врасплох турецким корсаром из Салеха, который погнался за нами на всех парусах. Мы тоже подняли паруса, какие могли выдержать наши реи и мачты, но, видя, что пират нас настигает и неминуемо догонит через несколько часов, мы приготовились к бою (у нас было двенадцать пушек, а у него восемнадцать). Около трех часов пополудни он нас нагнал, но по ошибке, вместо того, чтобы подойти к нам с кормы, как он намеревался, подошел с борта. Мы навели на него восемь пушек и дали по нем залп, после чего он отошел немного подальше, ответив предварительно на наш огонь не только пушечным, но и ружейным залпом из двух сотен ружей, так как на нем было до двухсот человек. Впрочем, у нас никого не задело: ряды наши остались сомкнутыми. Затем пират приготовился к новому нападению, а мы — к новой обороне. Подойдя к нам на этот раз с другого борта, он взял нас на abordаж: человек шестьдесят ворвалось к нам на палубу, и все первым делом бросились рубить снасти. Мы встретили их ружейной пальбой, копьями и ручными гранатами и дважды очищали от них нашу палубу. Тем не менее, так как корабль наш был приведен в негодность и трое наших людей было убито, а восемь ранено, то в заключение (я сокращаю эту печальную часть моего рассказа) мы принуждены

были сдать, и нас отвезли в качестве пленников в Салех, морской порт, принадлежащий маврам.

Участь моя оказалась менее ужасной, чем я опасался в первый момент. Меня не увели, как остальных наших людей, вглубь страны ко двору султана; капитан разбойничьего корабля удержал меня в качестве невольника, так как я был молод, ловок и подходил для него. Эта разительная перемена судьбы, превратившей меня из купца в жалкого раба, буквально раздавила меня, и тут то мне вспомнились пророческие слова моего отца о том, что придет время, когда некому будет выручить меня из беды и утешить, — слова, которые, думалось мне, так точно сбывались теперь, когда десница Божия покарала меня и я погиб безвозвратно. Но увы! то была лишь бледная тень тех тяжелых испытаний, через которые мне предстояло пройти, как покажет продолжение моего рассказа.

Так как мой новый хозяин или точнее, господин взял меня к себе в дом, то я надеялся, что, отправляясь в следующее плавание, он захватит с собой меня. Я был уверен, что рано или поздно его изловит какойнибудь испанский или португальский корабль, и тогда мне будет возвращена свобода. Но надежда моя скоро рассеялась, ибо, выйдя в море, он оставил меня присматривать за его садиком и вообще исполнять

по хозяйству черную работу, возлагаемую на рабов; по возвращении же с крейсировки он приказал мне расположиться на судне, в каюте, чтобы присматривать за ним.

С того дня я ни о чем не думал, кроме побега, измышляя способы осуществить мою мечту, но не находил ни одного, который давал бы хоть малейшую надежду на успех. Да и трудно было предположить вероятность успеха в подобном предприятии, ибо мне некому было довериться, не у кого искать помощи — не было ни одного подобного мне невольника, ни одного англичанина, ни одного ирландца или шотландца, — я был совершенно одинок; так что целых два года (хотя в течение этого времени я часто тешился мечтами о свободе) у меня не было и тени надежды на осуществление моего плана. Но по прошествии двух лет представился один необыкновенный случай, ожививший в моей душе давнишнюю мою мысль о побеге, и я вновь решил сделать попытку вырваться на волю. Как то мой хозяин сидел дома дольше обыкновенного и не снаряжал свой корабль (по случаю нужды в деньгах, как я слышал). В этот период он постоянно, раз или два в неделю, а в хорошую погоду и чаще, выходил в корабельном катере на взморье ловить рыбу. В каждую такую поездку он брал гребцами меня и молоденького мавра, и мы развлекали его по мере сил. А так как я,

кроме того, оказался весьма искусным рыболовом, то иногда он посылал за рыбой меня с мальчиком — Мареско, как они называли его — под присмотром одного взрослого мавра, своего родственника.

И вот как то тихим утром мы вышли на взморье. Когда мы отплыли, поднялся такой густой туман, что мы потеряли берег из вида, хотя до него от нас не было и полутора миль. Мы стали грести наобум; поработав веслами весь день и всю ночь, мы с наступлением утра увидели кругом открытое море, так как вместо того, чтобы взять к берегу, мы отплыли от него по меньшей мере на шесть миль. В конце концов мы добрались до дому, хотя не без труда и с некоторой опасностью, так как с утра задул довольно свежий ветер; все мы сильно проголодались.

Наученный этим приключением, мой хозяин решил быть осмотрительнее на будущее время и объявил, что больше никогда не выедет на рыбную ловлю без компаса и без запаса провизии. После захвата нашего корабля он оставил себе наш баркас и теперь приказал своему корабельному плотнику, тоже невольнику-англичанину, построить на этом баркасе в средней его части небольшую рубку или каюту, как на барже, позади которой оставить место для одного человека, который будет править рулем и управлять гротом, а впереди — для двоих, чтобы

крепить и убирать остальные паруса, из коих кливер приходился над крышей каютки. Каютка была низенькая и очень уютная, настолько просторная, что в ней было можно спать троим и поместить стол и шкафчики для провизии, в которых мой хозяин держал для себя хлеб, рис, кофе и бутылки с теми напитками, какие он предполагал распивать в пути.

Мы часто ходили за рыбой на этом баркасе, и так как я был наиболее искусный рыболов, то хозяин никогда не выезжал без меня. Однажды он собрался в путь (за рыбой или просто прокатиться — уж не могу сказать) с двумя-тремя важными маврами, заготовив для этой поездки провизии больше обыкновенного и еще с вечера отослав ее на баркас. Кроме того, он приказал мне взять у него на судне три ружья с необходимым количеством пороху и зарядов, так как, помимо ловли рыбы, им хотелось еще поохотиться.

Я сделал все, как он велел, и на другой день с утра ждал на баркасе, начисто вымытом и совершенно готовом к приему гостей, с поднятыми вымпелами и флагом. Однако, хозяин пришел один и сказал, что его гости отложили поездку из за какого то неожиданно повернувшегося дела. Затем он приказал нам троим — мне, мальчику и мавру — идти, как всегда, на взморье за рыбой, так как его друзья будут у него ужинать, и потому, как только

мы наловим рыбы, я должен принести ее к нему домой. Я повиновался.

Вот тут то у меня блеснула опять моя давнишняя мысль об освобождении. Теперь в моем распоряжении было маленькое судно, и, как только хозяин ушел, я стал готовиться — но не для рыбной ловли, а в дальнюю дорогу, хотя не только не знал, но даже и не думал о том, куда я направлю свой путь: всякая дорога была мне хороша, лишь бы уйти из неволи.

Первым моим ухищрением было внушить мавру, что нам необходимо запастись едой, так как мы не вправе рассчитывать на угощение с хозяйского стола. Он отвечал, что это правда, и притащил на баркас большую корзину с сухарями и три кувшина пресной воды. Я знал, где стоят у хозяина ящик с винами (захваченными, как это показывали ярлычки на бутылках, с какого-нибудь английского корабля), и, покуда мавр был на берегу, я переправил их все на баркас и поставил в шкафчик, как будто они были еще раньше приготовлены для хозяина. Кроме того, я принес большой кусок воска, фунтов в пятьдесят весом, да прихватил моток пряжи, топор, пилу и молоток. Все это очень нам пригодилось впоследствии, особенно воск, из которого мы делали свечи. Я пустил в ход еще и другую хитрость, на которую мавр тоже попался по простоте своей души. Его имя было

Измаил, а все звали его Моли или Мули. Вот я и сказал ему: «Моли, у нас на баркасе есть хозяйские ружья. Что, кабы ты добыл немножко пороху и зарядов? Может быть, нам удалось бы подстрелить себе на обед штуки две-три альками (птица вроде нашего кулика). Хозяин держит порох и дробь на корабле, я знаю». — «Хорошо, я принесу», — сказал он и принес большой кожаный мешок с порохом (фунта в полтора весом, если не больше) да другой с дробью фунтов в пять или шесть. Он захватил также и пуль. Все это мы сложили в баркас. Кроме того, в хозяйской каюте нашлось еще немного пороху, который я пересыпал в одну из бывших в ящике больших бутылок, перелив из нее предварительно остатки вина. Запасшись таким образом всем необходимым для дороги, мы вышли из гавани на рыбную ловлю. В сторожевой башне, что стоит у входа в гавань, знали, кто мы такие, и наше судно не привлекло внимания. Отойдя от берега не больше как на милю, мы убрали парус и стали готовиться к ловле. Ветер был северо-северо-восточный, что не отвечало моим планам, потому что, дуй он с юга, я мог бы наверняка доплыть до испанских берегов, по крайней мере до Кадикса; но откуда бы ни дул теперь ветер, одно я твердо решил: убраться подальше от этого ужасного места, а остальное предоставить судьбе.

Поудив некоторое время и ничего не поймав, — я нарочно не вытаскивал удочки, когда у меня рыба клевала, чтобы мавр ничего не видел, — я сказал ему: «Тут, у нас дело не пойдет; хозяин не поблагодарит нас за такой улов. Надо отойти подальше». Не подозревая подвоха с моей стороны, мавр согласился, и так как он был на носу баркаса, — поставил паруса. Я сел на руль, и когда баркас отошел еще миля на три в открытое море, я лег в дрейф как будто затем, чтобы приступить к рыбной ловле. Затем, передав мальчику руль, я подошел к мавру сзади, нагнулся, словно рассматривая что то, и вдруг схватил его за туловище и бросил за борт. Он сейчас же вынырнул, потому что плавал, как пробка, и криками стал умолять, чтобы я взял его на баркас, обещая, что поедет со мной хоть на край света. Он так быстро плыл, что догнал бы меня очень скоро, так как ветра почти не было. Тогда я пошел в каюту, взял там ружье и прицелился в него, говоря, что не желаю ему зла и не сделаю ему ничего дурного, если он оставит меня в покое. «Ты хорошо плаваешь, — продолжал я, — на море тихо, так что тебе ничего не стоит доплыть до берега, и я не трону тебя; но только попробуй подплыть близко к баркасу, и я мигом прострелю тебе череп, потому что я твердо решил вернуть себе свободу». Тогда он поворотил к берегу и, я уверен, доплыл до него

без всякого затруднения, так как был отличным пловцом.

Конечно, я мог бы бросить в море мальчика и взять с собою этого мавра, но на последнего нельзя было положиться. Когда он отплыл достаточно далеко, я повернулся к мальчику (его звали Ксури) и сказал ему: «Ксури! Если ты будешь мне верен, я сделаю тебя большим человеком, но если ты не погладишь своего лица в знак того, что не изменишь мне (т. е. не поклянешься бородой Магомета и его отца), я и тебя брошу в море». Мальчик улыбнулся, глядя мне прямо в глаза, и отвечал так чистосердечно, что я не мог не поверить ему. Он поклялся, что будет мне верен и поедет со мной на край света.

Покуда плывущий мавр не скрылся из вида, я держал прямо в открытое море, лавируя против ветра. Я делал это нарочно, чтобы показать, будто мы идем к Гибралтарскому проливу (как, очевидно, и подумал бы каждый здравомыслящий человек). В самом деле: можно ли было предположить, что мы намерены направиться на юг, к тем поистине варварским берегам, где целые полчища негров со своими челноками окружили бы и убили бы нас, где стоило нам ступить на землю, и нас растерзали бы хищные зверя или еще более безжалостные дикие существа в человеческом образе?

Но как только стало смеркаться, я изменил

курс и стал править на юг, уклоняясь слегка к востоку, чтобы не слишком удаляться от берегов. Благодаря довольно свежему ветерку а отсутствию волнения на море, мы шли таким хорошим ходом, что на другой день в три часа пополудни, когда впереди в первый раз показалась земля, мы были не менее как на полтораста миль южнее Салеха, далеко за пределами владений марокканского султана, да и всякого другого из тамошних владык; по крайней мере, мы не видели ни одного человека.

Но я набрался такого страха у мавров и так боялся снова попасться им в руки, что, пользуясь благоприятным ветром, целых пять дней плыл, не останавливаясь, не приставая к берегу и не бросая якоря. Через пять дней ветер переменялся на южный, и так как, по моим соображениям, если за нами и была погоня, то, не догнав нас до сих пор, наши преследователи должны уже были от нее отказаться, — я решился подойти к берегу и стал на якорь в устье какой то маленькой речки. Какая это была речка и где она протекает, в какой стране, у какого народа и под какой широтой — я не имею понятия. Я не видал людей на берегу, да и не желал увидеть; мне нужно было только запастись пресной водой. Мы вошли в эту бухточку под вечер и решили, когда смеркнется, добраться вплавь до берега и осмотреть местность. Но как только стемнело, мы услышали с берега такие ужасные

звуки — такой неистовый рев, лай и вой неведомых диких зверей, что бедный мальчик чуть не умер со страху и стал упрашивать меня не сходить на берег до наступления дня. «Хорошо, Ксури, — сказал я ему, — но, может быть, днем мы там увидим людей, от которых нам придется, пожалуй, еще хуже, чем от тигров и львов». — «А мы стрельнем в них из ружья, — сказал он со смехом, — они и убегут». (От невольников-англичан Ксури научился говорить на ломаном английском языке.) Я был рад, что мальчик так весел, и, чтобы поддержать в нем эту бодрость духа, дал ему стакан вина из хозяйских запасов. Совет его, в сущности, был недурен, и я последовал ему. Мы бросили якорь и простояли всю ночь притаившись. Я говорю: притаившись, потому что мы ей минуты не спали. Часа через два-три после того, как мы бросили якорь, мы увидали на берегу огромных животных (каких мы и сами не знали): они подходили к самому берегу, бросались в воду, плескались и барахтались, желая, очевидно, освежиться, и при этом так отвратительно визжали, ревели и выли, как я в жизни никогда не слышал.

Ксури был страшно напуган, да, правду сказать, и я тоже. Но еще больше испугались мы оба, когда услышали, что одно из этих страшилищ плывет к нашему баркасу; мы не видели его, но по тому, как оно отдувалось и фыркало, могли

заклЮчить, что это было свирепое животное чудовищных размеров. Ксури утверждал, что это лев (быть может, так оно и было, — по крайней мере, я не уверен в противном), и кричал, чтобы мы подняли якорь и удалились отсюда. «Нет, Ксури, — отвечал я, — нам незачем подымать якорь; мы только вытравим канат подлиннее и выйдем в море: они не погонятся за нами туда». Но не успел я это сказать, как увидел неизвестного зверя на расстоянии каких нибудь двух весел от баркаса. Признаюсь, я немного оторопел, однако сейчас же схватил в каюте ружье, и как только я выстрелил, животное повернуло назад и поплыло к берегу.

Невозможно описать, что за адский рев и вой поднялись на берегу и дальше, в глубине материка, когда раздался мой выстрел. Это давало мне некоторое основание предположить, что здешние звери никогда не слышали этого звука. Я окончательно убедился, что нам и думать нечего о высадке в этих местах в течение ночи, но можно ли будет рискнуть высадиться днем — был тоже вопрос: попасть в руки какого нибудь дикаря не лучше, чем попасться в когти льву или тигру; по крайней мере, эта опасность пугала нас несколько не меньше.

Но так или иначе, здесь или в другом месте, а нам необходимо было сойти на берег, так как у нас не оставалось ни пинты воды. Но опять таки

вопрос: где и как высадиться? Ксури объявил, что если я его пущу на берег с кувшином, то он постарается раздобыть пресной воды и принесет ее мне. А когда я спросил его, отчего же идти ему, а не мне, и отчего ему не остаться в лодке, в ответе мальчика было столько глубокого чувства, что он подкупил меня навеки. «Если придут дикие люди, — сказал он, — то они съедят меня, а вы останетесь целы». «Так вот что, Ксури, — сказал я, — отправимся вместе, а если придут дикие люди, мы убьем их, и они не съедят ни тебя, ни меня». Я дал мальчику поесть сухарей и выпить глоток вина из хозяйского запаса, о котором я уже говорил; затем мы подтянулись поближе к земле и, соскочив в воду, направились к берегу вброд, не взяв с собой ничего, кроме оружия да двух кувшинов для воды.

Я не хотел удаляться от берега, чтобы не терять из виду баркаса, опасаясь, как бы вниз по реке к нам не спустились дикари в своих пирогах; но Ксури, заметив низинку на расстоянии приблизительно одной мили от берега, побрел туда с кувшином. Вдруг я увидел, что он бежит назад ко мне. Подумав, не погнались ли за ним дикари или не испугался ли он хищного зверя, я бросился к нему на помощь, но, подбежав ближе, увидел, что через плечо у него висит что-то большое. Оказалось, что он убил какого то зверька вроде нашего зайца, но другого цвета и с более длинными

ногами. Мы оба были рады этой удаче, и мясо убитого животного оказалось очень вкусным; но главная радость, с которою бежал ко мне Ксури, была та, что он нашел хорошую пресную воду и не видел диких людей.

Потом оказалось, что нам не нужно было так хлопотать, чтобы достать пресной воды: в той самой речке, где мы стояли, только немного повыше, вода была совершенно пресная, так как прилив заходил в речку не особенно далеко. Итак, наполнив наши кувшины, мы устроили пиршество из убитого зайца и приготовились продолжать путь, не открыв в этой местности никаких следов человека.

Так как я уже побывал однажды в этих местах, то мне было хорошо известно, что Канарские острова и острова Зеленого мыса отстоят недалеко от материка. Но теперь у меня не было с собой приборов для наблюдений, и я не мог, следовательно, определить, на какой широте мы находимся; с другой стороны, я не знал в точности или, во всяком случае, не помнил, на какой широте лежат эти острова; таким образом, мне неизвестно было, где их искать и когда именно следует свернуть в открытое море, чтобы направиться к ним; знай я это, мне было бы нетрудно добраться до какого-нибудь из них. Но я надеялся, что, если я буду держать вдоль берега, покамест не дойду до

той части страны, где англичане ведут береговую торговлю, то я, по всей вероятности, встречу какое нибудь английское купеческое судно, совершающее свой обычный рейс, которое нас подберет.

По всем моим расчетам мы находились теперь против той береговой полосы, что тянется между владениями марокканского султана и землями негров. Это пустынная, безлюдная область, населенная одними дикими зверями: негры, боясь мавров, покинули ее и ушли дальше на юг, а мавры нашли невыгодным селиться здесь по причине бесплодия почвы; вернее же, что тех и других распугали тигры, львы, леопарды и прочие хищники, которые водятся здесь в несметном количестве. Таким образом, для мавров эта область служит только местом охоты, на которую они отправляются целыми армиями, по две, по три тысячи человек. Неудивительно поэтому, что на протяжении чуть ли не ста миль мы видели днем лишь пустынную, безлюдную местность, а ночью не слышали ничего, кроме воя и рева диких дверей.

Два раза в дневную пору мне показалось, что я вижу вдали пик Тенерифа — высочайшую вершину горы Тенериф, что на Канарских островах. Я даже пробовал сворачивать в море в надежде добраться туда, но оба раза противный ветер и сильное волнение, опасное для моего утлого суденышка, принуждали меня повернуть назад, так

что, в конце концов, я решил не отступать более от моего первоначального плана и держаться вдоль берегов.

После того, как мы вышли из устья речки, я еще несколько раз принужден был приставать к берегу для пополнения запасов пресной воды. Однажды ранним утром мы стали на якорь под защитой довольно высокого мыска и ждали полного прилива, который уже начинался, чтобы подойти ближе к берегу. Вдруг Ксури, у которого глаза были, видно, зорче моих, тихонько окликнул меня и на мой вопрос сказал, что нам лучше отойти подальше от берега:

«Вы взгляните, какой страшный зверь лежит вон там на пригорке и крепко спит». Я взглянул, куда он показывал, и действительно увидел страшилище. Это был огромный лев, лежавший на скате берега в тени нависшего холма. «Послушай, Ксури, — сказал я, — ступай на берег и убей этого зверя». Мальчик испуганно взглянул на меня и проговорил: «Мне — убить его! Да он меня в один раз заглотает» (проглотит целиком — хотел он сказать). Я ничего ему не возразил, велел только не шевелиться; взяв самое большое ружье, почти равнявшееся мушкету по калибру, я зарядил его двумя кусками свинца и порядочным количеством пороху; в другое я вкатил две большие пули, а в третье (у нас было три ружья) — пять пуль

поменьше. Взяв первое ружье и хорошенько прицелившись зверю в голову, я выстрелил; но он лежал в такой позе (прикрыв морду лапой), что заряд попал ему в ногу и перебил кость выше колена. Зверь с рычанием вскочил, но, почувствовав боль в перебитой ноге, сейчас же свалился; потом опять поднялся на трех лапах и испустил такой ужасный рев, какого я в жизни своей не слышал. Я был немного удивлен тем, что не попал ему в голову; однако, не медля ни минуты, взял второе ружье и выстрелил зверю вдогонку, так как он заковылял было прочь от берега; на этот раз заряд попал прямо в цель. Я с удовольствием увидел, как лев упал и, едва издавая какие то слабые звуки, стал корчиться в борьбе со смертью. Тут Ксури набрался храбрости и стал проситься на берег. «Ладно, ступай», — сказал я. Мальчик прыгнул в воду и поплыл к берегу, работая одной рукой и держа в другой ружье. Подойдя вплотную к распростертому зверю, он приставил дуло ружья к его уху и еще раз выстрелил, прикончив его таким образом.

Дичь была знатная, но несъедобная, и я очень жалел, что мы истратили даром три заряда. Но Ксури объявил, что он поживится кое-чем от убитого льва, и, когда мы вернулись на баркас, попросил у меня топор. «Зачем тебе топор?» — спросил я. «Отрубить ему голову», — отвечал он.

Однако, головы отрубить он не мог, а отрубил только лапу, которую и притащил с собой. Она была чудовищных размеров.

Тут мне пришло в голову, что, может быть, нам пригодится шкура льва, и решил попытаться снять ее. Мы отправились с Ксури на работу, но я не знал, как за нее приняться. Ксури оказался гораздо ловчее меня. Эта работа заняла у нас целый день. Наконец, шкура была снята; мы растянули ее на крыше нашей каютки; дня через два солнце просушило ее, и впоследствии она служила мне постелью.

После этой остановки мы еще дней десять-двенадцать продолжали держать курс на юг, стараясь как можно экономнее расходовать наш запас провизии, начинавший быстро истощаться, и сходя на берег только за пресной водой. Я хотел дойти до устья Гамбии или Сенегала, или вообще до какойнибудь стоянки, недалеко от Зеленого мыса, так как надеялся встретить здесь какоенибудь европейское судно: я знал, что, если я его не встречу, мне останется только или пуститься на поиски островов, или погибнуть здесь среди негров. Мне было известно, что все европейские суда, куда бы они ни направлялись — к берегам ли Гвинеи, в Бразилию или в Ост-Индию, — проходят мимо Зеленого мыса или островов того же названия: словом, я поставил всю свою судьбу на эту карту,

понимая, что либо я встречу европейское судно, либо погибну.

Итак, еще дней десять я продолжал осуществлять свое намерение. Тут я стал замечать, что побережье обитаемо: в двух-трех местах мы видели на берегу людей, которые, в свою очередь, смотрели на нас. Мы могли также различить, что они были черные как смоль и голые. Один раз я хотел было сойти к ним на берег, но Ксури, мой мудрый советчик, сказал: «Не ходи, не ходи».

Тем не менее я стал держать ближе к берегу, чтобы можно было вступить с ними в разговор. Они должно быть поняли мое намерение и долго бежали вдоль берега за нашим баркасом. Я заметил, что они были не вооружены, кроме одного, державшего в руке длинную тонкую палку. Ксури сказал мне, что это колье и что дикари мечут копья очень далеко и замечательно метко; поэтому я держался в некотором отдалении от них и объяснялся с ними знаками по мере моего умения, стараясь, главным образом, дать им понять, что мы нуждаемся в пище. Они, в свою очередь, стали делать мне знаки, чтобы я остановил свою лодку и что они принесут нам съестного. Как только я спустил парус и лег в дрейф, два чернокожих побежали куда то в глубь страны и через полчаса или того меньше принесли два куска вяленого мяса и немного зерна какого то местного злака. Мы не знали, что это было за мясо

и что за зерно, однако изъявили полную готовность принять и то и другое. Но тут возник новый вопрос: как получить все это? Мы не решались сойти на берег, боясь дикарей, а они в свою очередь боялись нас несколько не меньше. Наконец, они придумали выход из этого затруднения, одинаково безопасный для обеих сторон: сложив на берегу зерно и мясо, они отошли подальше и стояли неподвижно, пока мы не переправили все это на баркас; а затем воротились на прежнее место.

Мы благодарили их знаками, потому что больше нам было нечем отблагодарить. Но в этот самый момент нам представился случай оказать им большую услугу. Не успели мы отойти от берега, как вдруг из гор выбежали два огромных зверя и бросились прямо к морю. Один из них, как нам казалось, гнался за другим: был ли это самец, преследовавший самку, играли ли они между собою, или грызлись, — мы не могли разобрать, как не могли бы сказать и того, было ли это обычное явление в тех местах, или исключительный случай; я думаю, впрочем, что последнее было вернее, так как, во-первых, хищные звери редко показываются днем, а во-вторых, мы заметили, что бывшие на берегу люди, особенно женщины, страшно перепугались. Только человек, державший копье, или дротик, остался на месте; остальные пустились бежать. Но звери летели прямо к морю и не

покушались напасть на негров. Они бросились в воду и стали плавать, словно купанье было единственной целью их появления. Вдруг один из них подплыл довольно близко к баркасу. Я этого не ожидал; тем не менее, зарядив поскорее ружье и приказав Ксури зарядить оба другие, я приготовился встретить врага как только он приблизился к нам на расстояние ружейного выстрела, я спустил курок, и пуля попала ему прямо в голову в тот же миг он погрузился в воду, потом вынырнул и поплыл назад к берегу, то исчезая под водой, то снова появляясь на поверхности. Он, видимо, боролся со смертью, захлебываясь водой и исходя кровью из смертельной раны. и, не доплыв немного до берега, околел.

Невозможно передать, до чего были поражены бедные дикари, когда услышали треск и увидели огонь ружейного выстрела: некоторые из них чуть не умерли со страху и попадали на землю, точно мертвые. Но, видя, что зверь пошел ко дну и что я делаю им знаки подойти ближе, они ободрились и вошли в воду, чтобы вытащить убитого зверя. Я нашел его по кровавым пятнам на воде и, закинув на него веревку, перебросил конец ее неграм, а те притянули его к берегу. Животное оказалось леопардом редкой породы с пятнистой шкурой необычайной красоты. Негры, стоя над ним, воздевали вверх руки в знак изумления: они не

могли понять, чем я его убил.

Другой зверь, испуганный огнем и треском моего выстрела, выскочил на берег и убежал назад в горы; за дальностью расстояния я не мог разобрать, что это был за зверь. Между тем, я заметил, что неграм очень хочется поесть мяса убитого леопарда, и решил устроить так, как будто бы они получили его в дар от меня. Я показал им знаками, что они могут взять его себе. Они очень благодарили меня и, не теряя времени, принялись за работу. Хотя ножей у них не было, однако, действуя заостренными кусочками дерева, они сняли шкуру с мертвого зверя так быстро и ловко, как мы не сделали бы этого и ножом. Они предложили мне мясо; но от мяса я отказался, сделав им знак, что отдаю его им, а попросил только шкуру, которую они мне и отдали очень охотно. Кроме того, они принесли для меня новый запас провизии, гораздо больше прежнего, и я его взял, хоть и не знал, какие это были припасы. Затем я знаками попросил у них воды: протянув один из наших кувшинов, я опрокинул его кверху дном чтобы показать, что он пуст и что его надо наполнить. Они сейчас же прокричали что то своим. Немного погодя, появились две женщины с большим сосудом воды из обожженной (должно быть на солнце) глины и оставили его на берегу, как и провизию. Я отправил Ксури со всеми

нашими кувшинами, и он наполнил водой все три. Женщины были совершенно голые, как и мужчины.

Запасшись таким образом водой, кореньями и зерном, я расстался с гостеприимными неграми и в течение еще одиннадцати дней продолжал путь в прежнем направлении, не приближаясь к берегу. Наконец, милях в пятнадцати впереди я увидел узкую полосу земли, далеко выступавшую в море. Погода была тихая, и я свернул в открытое море, чтоб обогнуть эту косу. В тот момент, когда мы поравнялись с ее оконечностью, я ясно различил милях в шести от берега со стороны океана другую полосу земли и заключил вполне основательно, что узкая коса — Зеленый мыс, а полоса земли — острова того же названия. Но они были очень далеко, и, не решаясь направиться к ним, я не знал, что мне делать. Я понимал, что если меня застигнет свежий ветер, то я, пожалуй, не доплыву ни до острова, ни до мыса.

Ломая голову над разрешением этого вопроса, я присел на минуту в каюте, предоставив Ксури править рулем, как вдруг услышал его крик: «Хозяин! Хозяин! Парус! Корабль!» Наивный юноша перепугался до смерти, вообразив, что это должен быть непременно один из кораблей его хозяина, посланный за нами в погоню; но я знал, как далеко ушли мы от мавров, и был уверен, что нам не может угрожать опасность с этой стороны. Я

выскочил из каюты и сейчас же не только увидел корабль, но даже различил, что это был португальский корабль, направлявшийся, по-моему, к берегам Гвинеи за неграми. Но, присмотревшись внимательнее, я убедился, что судно идет в другом направлении и не думает сворачивать к земле. Тогда я поднял все паруса и повернул в открытое море, решившись сделать все возможное, чтобы вступить с ним в сношение.

Я, впрочем, скоро убедился, что, даже идя полным ходом, мы не успеем подойти к нему близко и что оно пройдет мимо, прежде чем можно будет дать ему сигнал; но в тот момент, когда я начинал уже отчаиваться, нас должно быть увидели с корабля в подзорную трубу и предположили, что это лодка с какого-нибудь погибшего европейского судна. Корабль убавил паруса, чтобы дать нам возможность подойти. Это меня ободрило. У нас на баркасе был кормовой флаг с корабля нашего бывшего хозяина, и я стал махать этим флагом в знак того, что мы терпим бедствие, и, кроме того, выстрелил из ружья. Они увидели флаг и дым от выстрела (самого выстрела они не слышали); корабль лег в дрейф, ожидая нашего приближения, и спустя три часа мы причалили к нему.

Меня спросили, кто я, по португальски, по испански и по французски, но ни одного из этих языков я не знал. Наконец, один матрос, шотландец,

заговорил со мной по английски, и я объяснил ему, что я — англичанин и убежал от мавров из Салеха, где меня держали в неволе. Тогда меня и моего спутника пригласили на корабль и приняли весьма любезно со всем нашим добром.

Легко себе представить, какой невыразимой радостью наполнило меня сознание свободы после того бедственного и почти, безнадежного положения, в котором я находился. Я немедленно предложил все мое имущество капитану в вознаграждение за мое избавление, но он великодушно отказался, говоря, что ничего с меня не возьмет и что все мои вещи будут возвращены мне в целости, как только мы придем в Бразилию. «Я спас вам жизнь, — прибавил он, — потому что и сам радовался бы, если б был в вашем положении. А это всегда может случиться. Кроме того, ведь мы завезем вас в Бразилию, а от вашей родины это очень далеко, и вы умрете там с голоду, если я отниму у вас ваше имущество. Для чего же тогда мне было вас спасать? Нет, нет, *сеньор инглезе* (т. е. англичанин), я доведу вас даром до Бразилии, а ваши вещи дадут вам возможность пожить там и оплатить ваш проезд на родину».

Капитан оказался великодушным не только на словах, но и исполнил свое обещание в точности. Он распорядился, чтобы никто из матросов не смел прикасаться к моему имуществу, затем составил

подробную опись всего моего имущества и взял все это под свой присмотр, а опись передал мне, чтобы потом, по прибытии в Бразилию, я мог получить по ней каждую вещь, вплоть до трех глиняных ковшиков.

Что касается моего баркаса, то капитан, видя, что он очень хорош, сказал, что охотно купит его у меня для своего корабля, и спросил, сколько я хочу получить за него. На это я ответил, что он поступил со мной так великодушно во всех отношениях, что я ни в коем случае не стану назначать цены за свою лодку, а всецело предоставляю это ему. Тогда он сказал, что выдаст мне письменное обязательство уплатить за нее восемьдесят пиастров в Бразилии, но что если по приезде туда кто-нибудь предложит мне больше, то и он даст мне больше. Кроме того, он предложил мне шестьдесят золотых за Ксури. Мне очень не хотелось брать эти деньги, и не потому, чтобы я боялся отдать мальчика капитану, а потому что мне было жалко продавать свободу бедняги, который так преданно помогал мне самому добыть ее. Я изложил капитану все эти соображения, и он признал их справедливость, но советовал не отказываться от сделки, говоря, что он выдаст мальчику обязательство отпустить его на волю через десять лет, если он примет христианство. Это меняло дело. А так как к тому же сам Ксури выразил желание перейти к капитану, то

я и уступил его.

Наш переезд до Бразилии совершился вполне благополучно, и после двадцатидвухдневного плавания мы вошли в бухту Тодос лос Сантос, или Всех Святых. Итак, я еще раз избавился от самого бедственного положения, в какое только может попасть человек, и теперь мне оставалось решить, что делать с собой.

Я никогда не забуду великодушного отношения ко мне капитана португальского корабля. Он ничего не взял с меня за проезд, аккуратнейшим образом возвратил мне все мои вещи и дал мне сорок дукатов за львиную шкуру и двадцать за шкуру леопарда и вообще купил все, что мне хотелось продать, в том числе ящик с винами, два ружья и остаток воска (часть которого пошла у нас на свечи). Одним словом, я выручил двести двадцать золотых и с этим капиталом сошел на берег Бразилии.

Вскоре капитан ввел меня в дом одного своего знакомого, такого же доброго и честного человека, как он сам. Это был владелец *ingenio*, то есть сахарной плантации и сахарного завода. Я прожил у него довольно долгое время и, благодаря этому, познакомился с культурой сахарного тростника и с сахарным производством. Видя, как хорошо живет плантаторам и как быстро они богатеют, я решил хлопотать о разрешении поселиться здесь

окончательно и самому заняться этим делом. В то же время я старался придумать какой-нибудь способ вытребовать из Лондона хранившиеся у меня там деньги. Когда мне удалось получить бразильское подданство, я на все мои наличные деньги купил участок невозделанной земли и стал составлять план моей будущей плантации и усадьбы, сообразуясь с размерами той денежной суммы, которую я рассчитывал получить из Лондона.

Был у меня сосед, португалец из Лиссабона, по происхождению англичанин, по фамилии Уэлз. Он находился приблизительно в таких же условиях, как и я. Я называю его соседом, потому что его плантация прилегала к моей. Мы были с ним в самых приятельских отношениях. У меня, как и у него, оборотный капитал был весьма невелик; и первые два года мы оба еле-еле могли прокормиться с наших плантаций. Но по мере того, как земля возделывалась, мы богатели, так что на третий год часть земли была у нас засажена табаком, и мы разделили по большому участку под сахарный тростник к будущему году. Но мы оба нуждались в рабочих руках, и тут мне стало ясно, как нерасчетливо я поступил, расставшись с мальчиком Ксури.

Но увы! благоразумием я никогда не отличался, и не удивительно, что я так плохо